

За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребам и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрощенный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предъявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Позже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных - громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах - каретах, запряженных четверкой, с фореитором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, куда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать.

И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне.

II

Смерть матери

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней - белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время - таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие, темно-карие глаза. Она смотрит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят.

Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Незнание пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем наконец и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит: «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

- Как на небо? Почему? - Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопро-